

Писатель и жизнь

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В НАСТОЯЩЕМ художественном произведении — будь это роман, повесть, рассказ, поэма, — кроме очевидной, легко доступной общей идеи, обязательно есть еще и нечто такое, что не всегда и не сразу дается нашему читательскому любопытству, — есть, я бы сказал, некоторая формула, что ли, а точнее, духовная первоузелка вещи. Ее внутреннее силовое влияние, ее, так сказать, нервное живое эхо дает о себе знать буквально во всем — и в тексте, и в подтексте, и в «надтексте». Отчасти оно — и логика, и построение, и атмосфера вещи.

Роман Гончара «Твоя зоря» я отношу именно к произведениям такого рода. Название, правда, не из громких, но с достаточно ясным пригласением — вчитаться, уразуметь что к чему. Тему романа, ее лирико-философскую суть я бы в двух словах определил так: и скорость, и память. Да-да, именно так. Тем он, собственно, и самобытен, роман, тем он и нов. Скорость и память — два, казалось бы, разных по своей динамике понятия, а вот по воле автора, по воле мысли его и таланта они сближены и стоят рядом. И не только стоят рядом, но и активно взаимодействуют — определяют стиль, ход, структуру романа, его композиционные пропорции, разность величин, характеров, манеру письма, язык, меру света и тени.

...Кирик — что это такое? Ласково сокращенное от полного имени главного героя романа — Кирилл? Да, но не только. Кирик по замыслу автора — это больше, чем просто имя. Кирик — это и широкая без конца и без края южнукраинская степь, которая была до него и будет. Это и высокое небо над степью с белыми неподвижными облаками по краям — «деды» их зовут в народе. Это и низенькие, все в соловьиных садах по весне хаты Терновщинской бедняцкой слободы, в одной из которых он, Кирик, родился и рано остался без матери...

Кирик — это ясное детство в степи, память о детстве, это — расторопный, чуткий, от-

крытый всему на свете мальчуган-папушонка, который, как первый день рождения, как первая любовь, как все первое вообще, никогда уже не постареет и до конца не избудет себя в своем возрослом, мало-помалу стареющем Кирилле. И даже не в Кирилле, нет, а давно уже — если по рангу да еще с должной почитательностью, — в самом Кирилле Петровиче Заболотном, в прошлом отважном летчике-истребителе, а теперь — солидном советском дипломате, кому самой судьбой была уготована наиболее трудная миссия: по линии ООН заботиться обо всех обездоленных детях на свете, думать о них, тревожиться, защищать. И какое удивительное совпадение в одном лице: добрая, отзывчивая душа, мужественное, верное сердце и высокая, воистину мировая должность!

Иные говорят, что положительный герой это уже банально, поскольку в идеале, дескать, такого нет. В отвлеченном идеале-то, возможно, и нет, согласен, а вот в жизни, в жизни, надо полагать, имеется. Ведь что ни говори, а на положительном в общем-то весь мир держится. И утверждать обратное, думаю, вряд ли кто всерьез возьмется. И тем более по отношению к нашей советской, социалистической литературе, кровно связанной с жизнью, долгом которой всегда было и будет прежде всего утверждать в человеке истинно человеческое и противостоять всему, что мешает этому. И не только противостоять, но и бороться со всем безобразным.

Заболотный — положительный и, конечно же, герой! Но не в его натуре работать папоказ. Он не играет в работу, а работает, на совесть. Так же, кстати, он и воевал. А иначе и не умеет. При этом он всегда и во всем аккуратен, точен, внешне нетороплив, а в то же время стремителен.

И кто первый заметил это в нем? Степная девочка Сонясан... «Сан» это потом привьется к ней за ее отзывчивое сердце. Привьется там, в Японии, ку-

Егор ИСАЕВ,
лауреат Ленинской премии

да она спуска много лет придет уже как жена советского дипломата и обретет заслуженное уважение японских матерей, кому она помогла в беде — привезла из Советского Союза редкое по тем временам лекарство их детям, страдающим тяжким недугом.

А тогда, когда она впервые, деревенская девчонка, увидела Заболотного, была студеной, страшная пора. Была война. Была оккупация... Его почти закончившего, битого-перебитого, сорванного с неба советского сокола-истребителя, сторонясь подлочного взгляда полицая и всякой оккупантской сволочи, сельские вездесущие ребятишки — вот она из каких глубин и с каких лет идет в романе тема детей, тема будущего! — приносили на руках из пустынной, холодной степи и с рук на руки бережно передали ей, Софийке. Она спрянула его и вместе с другими женщинами, как могла, выжила его и — выходила, оторвала от смерти.

Вот тогда-то она, степная горлица, и увидела второе небо. Не то, что там, над головой. Увидела небо в его глазах и сразу же потянулась к ним светом на свет, еще не отдавая себе отчета в том, отчего это, почему и как это называется! И даже после того, как молча расстались, — тянулась. Тянулась и не догадываясь даже, что он тоже, стеснительный парень-чужак — а еще герой называется! — с первой встречи потянулся к ней. И хвала случаю, что они снова встретились после войны, встретились, чтоб никогда уже не расстаться. Свет, как говорится, пришелся к свету, и любовь восторжествовала в детях, в общих делах и заботах, в трогательной, нерушимой верности друг другу, в свете семьи, в свете добрых отношений с другими людьми, далекими и близкими. Вспыхнувший однажды по великому знаку любви, он, этот высокий свет, нигде и никогда уже не угасает. И где бы, в ка-

ких бы странах мира они потом ни работали, Заболотные, на их свет добра несли свое добро, свою благодарность, а иногда — бывало и такое — свою скорбь и печаль, мучительные раздумья о жизни людей разных национальностей, характеров, положений, возрастов.

Это и японские женщины-матери, обретшие, наконец, веру в возможное выздоровление своих детей, это — и Фрэнк-рыбак, он же одновременно и отважный пасечник-экспериментатор, рискнувший установить свои ульи прямо чуть ли не под дюралюминиевыми днищами день и ночь громоподобно грохочущих самолетов, стартующих недалеко от пасаки с Атлантического побережья Соединенных Штатов.

Это — и милые девушки-офицантки из того небольшого кафе, что по дороге к провинциальному музею искусств, где, как раструблила печать, экспонируется невиданная доселе «Славянская мадонна» кисти неизвестного мастера. Это — и тот блуждающий печальный студент-философ, чья любовь стала жертвой чудовищной катастрофы в безумных скоростях бетонного, серого полотна трассы-хайвей. Это, конечно, и наши соотечественники, друзья-товарищи по дипломатической службе, их дети — семья Дударевичей, и в особенности их слишком задумчивая и очень уважающая Заболотного дочка Лида. Это — и приехавший на экологический конгресс советский ученый-эколог, тоже из той же степи, что и Кирик... И все, все они идут на их свет — находят в нем радость, отраду, утешение...

Я БЫ назвал этот свет светом добрососедства, светом общения. И это не только свет четы Заболотных, их личный, семейный свет. Это в какой-то мере и свет всего народа. И конечно, конечно же, это и свет самого романа. Больше того — свет всего многогранного творчества Гончара, свет его таланта. Вспомним хотя бы его роман «Люди и оружие» — какой там необоримый, исцеляющий свет стоит над каждым обугленным, кро-

вотчащим словом. А возьмите «Ураган», «Тронку»...

Но вернемся к «Твоей зоре». Это, я считаю, новая большая удача Гончара. Особенно образ Заболотного. Насколько он, как селянин по рождению, по чувству степи, привержен земле, ее могучей силе родить хлеб, кормить, одевать, поить всех нас, настолько же он с юности полонен небесной бездной. Нарастающая скорость крыла и колес всегда были его стихией. К тому же он еще и дипломат, причем по самым неотложным, животрепещущим проблемам защиты мира и детства. Они так же близки, как, скажем, проблемы памяти и скорости.

С этой точки зрения лично я вижу в романе две дороги. Одна — дорога просто, с разными только названиями: шоссе, трасса, хайвей, автострада, и другая дорога — дорога памяти. На их сближении, собственно, а порой даже на пересечении Гончар и строит всю композицию романа. Какой из них отдается предпочтение, сказать трудно. И все-таки, мне кажется, дороге памяти. На страницы романа из пережитого она приводит ряд интересных судеб и характеров. И, как правило, каждый такой характер — не только полнокровная натура, зримый образ, но и — определенная позиция автора, его мысль, его взгляд.

Вот хотя бы Роман-степняк. Ведь столько лет уже прошло, а он так и не померк в благодарной памяти большого Кирика и его друга-эколога. Он — в их памяти, в их сердце — до сих пор как солнышко в незабываемой степи, солнышко, которое светит им издалека и радует. И солнышко это — не только сам Роман, но и выращенный им в степи, на хуторе, неподалеку от Терновщинской слободы, прекрасный сад. А в саду том — яблоки, как наливные звезды лета, спелые, румяные. А под ними — знойно гудящие ульи, полные золотого, воистину солнечного меда. А в доме и во дворе того дома, который в саду, — дочка Романа, Надежда,

красавица на всю степь, с маленькой дочуркой. И главный там, в том саду, не столько сам Роман, сколько его труд. Отсюда — и уважение к нему, рачительному труженику, большинства терновчан.

И вот другой пример — Мина Омелькович. С детских лет он был унижен подневольным, тяжким трудом на кулака. Потому, можно сказать, тогда возненавидел труд. Вот почему, получив, как батрак, большую власть, он по неумелости своей использует ее скорее на потребу анархии, нежели на пользу артели: высылает вместе с кулаками и Романа-степняка. Односельчане, естественно, не могли простить ему этого и отказали даже в минимальном уважении — стали насмехаться над ним...

Есть в романе и еще один довольно любопытный образ странствующего по степи художника. Одно время, рассказывают, он пользовался довольно большой известностью среди своих столичных коллег, а потом почему-то сам же отстранился от своей славы и ушел безвестным в степь — стал искать новые, оригинальные натуры и более сильные, долговечные краски. Однажды он увидел дочку Романа, красавицу Надежду с маленькой дочуркой Настусей на руках — и как озарился высоким светом: нашел наконец-таки свою мадонну! Несколько сеансов на ранней заре — и картина как будто сама из зари вышла: столько в ней было спокойного достоинства, материнства и красоты. Перед самой войной картина была выставлена в Харькове, а во время войны бесследно исчезла.

И вот американская пресса объявила: в одном провинциальном музее выставлен шедевр неизвестного художника «Славянская мадонна». Не она ли? — спрашивают себя в радостной надежде Заболотный, его друг-эколог и, долго не раздумывая, отправляются в дорогу. И дорога эта — уже современная, реальная дорога. Дорога железного ветра и сумасшедших скоростей. Да и само повествование, под стать дороге, становится тоже безразлично-механическим каким-то. Словно идет как бы уже не по бумаге, а по серому бесконечному бетону, бесконеч-

но огороженному с двух сторон проволокой. И вот тут-то, по ходу нескончаемого потока колес, все больше и больше дает о себе знать давно заявившая уже о себе тема — тема природы и технического прогресса. Да прогресс ли это? Какой чудовищно-дисгармоничной громадой являет себя путешественникам насквозь прокопченный, ржавый от безразличия ко всему живому, неземной какой-то, угрюмый даже на рассвете многокилометровый город!

А тот клен, спеленутый колючей проволокой, — не подходит?

А рассказ студента о страшной катастрофе, когда сотни машин в тумане на предельных скоростях врезались одна в другую на протяжении нескольких километров? И это — по пути к «Славянской мадонне», по пути к надежде на обретение гармонии в мире. Не символично ли?

В этом смысле показателен в какой-то мере и незагугающий спор между Дударевичем и Заболотным. Дударевич — филолог, а весь его жизненный уклад строится на откровенном рационализме. Дударевич даже как бы бахвалится этим: дескать, я — передовой, под стать веку. Скоростному, железному, расчленимому. Заболотный же, будучи с ног до головы человеком техники, наоборот, старается как бы смягчить механическое духовным. Да, он за технику, но он и не против души. Заболотный, можно сказать, дважды берет верх в споре с Дударевичем. Первый раз — это когда спасает по дороге в Крым битого кем-то комбайнера. И второй раз — и последний, — это когда он, отслужив положенный срок в ООН, вместо того, чтобы лететь, наконец, домой, дает согласие лететь в Африку, дабы спасти там детей, обреченных на медленную гибель. И он летит туда, как летел когда-то в бой. И эта его победа оказывается последней и уже бесконечной...

Что случилось с самолетом там, в небе Атлантики, никто уже и никогда не расскажет. Конец романа, как видите, трагичен. Но тягостного ощущения от такого завершения в душе не остается. Наивно, но хочется верить, что Кирик не погиб, а улетел в свое детство — туда, к белым-белым облакам — «деды» их зовут в народе...